

**андрей
МАКАРЕВИЧ**



**андрей
МАКАРЕВИЧ**

...Я ВЫРОС НА ВАШИХ
НЕСНЯХ



Издательство АСТ
Москва

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
М15

Макаревич, Андрей Вадимович.

М15 ...Я вырос на ваших песнях/А.В. Макаревич. – Москва : Издательство АСТ, 2017. – 192 с.: ил.

ISBN 978-5-17-102791-9

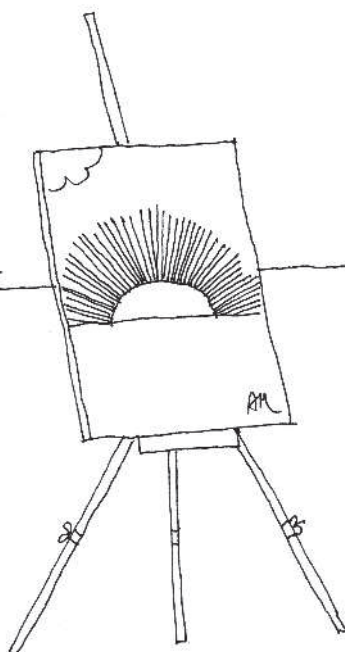
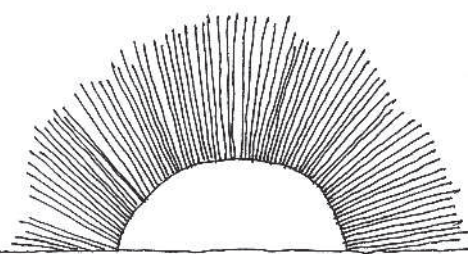
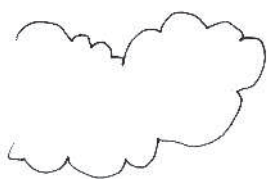
«...Я вырос на ваших песнях» Эту фразу тысячи раз слышат популярные музыканты. Андрей Макаревич известен не только как музыкант, поэт и художник. Он преуспел в различных ипостасях, в том числе и на писательском поприще. Его книги, как и его песни, наполнены тонким юмором и точными наблюдениями, они передают атмосферу непосредственного общения с многогранным и талантливым человеком. В сборник «...Я вырос на ваших песнях» вошли новые рассказы Андрея Макаревича, впечатления от путешествий, размышления о жизни, красоте и любви, сказки и даже авторские рецепты, которые по сути тоже являются рассказами и превращают приготовление пищи в радостный и осмысленный процесс. Книга оформлена рисунками и фрагментами картин автора.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-102791-9

© А. Макаревич, текст, иллюстрации,
фрагменты картин, 2017
© ООО «Издательство АСТ», 2017

Стереотипы
на фоне
засходящего
солнца



Первая победа



Один мой товарищ, склонный к математическим исследованиям по любому поводу, подсчитал, что родители мои зачали меня аккурат в день кончины Вождя и Учителя всех народов — или прямо где-то около того. Подозреваю, что не от горя — от горя такими вещами не занимаются. Мамы и папы давно нет, и пролить окончательную ясность на это событие я уже не смогу. Может быть, конечно, и совпадение. Может быть.

В пять лет я был низкорослым и дохлым ребенком. Ненавидел еду. «Жизнерадостный рахит», — звала меня мама. Будучи заикой, заикой на моем слабом здоровье, она — медицинский работник — постоянно таскала меня по своим знакомым — тоже медицинским работникам. Здоровья моего это не укрепляло.

Большую часть года меня нещадно кутали. Как сейчас помню: лифчик с резинками и толстыми чулками, шерстяные рейтузы, байковые шаровары, шерстяные носки, валенки с галошами, сверху майка, байковая рубашка, вязаный свитер, на голову сначала платок, как на шоколаде «Алёнка» (предмет особенной ненависти), потом меховая шапка-ушанка, шубка из непонятного зверя мехом наружу, варежки на резиночке через рукава. Поверх всего плотно наматывался шарф, окончательно останавливавший дыхание. В этом скафандре меня выводили в наш дворик на Волхонке и пускали на снег. Стоять и кое-как передвигаться я еще мог. Но если падал — подняться без посторонней помощи было уже практически невозможно.

А дворик наш был довольно шпанским — как и все московские дворики того времени. В каждой второй семье кто-то сидел — или недавно вышел по амнистии. Приблатненность боготворилась и была объектом для



андрей макаревич

подражания. К тому же дворовые мои друзья были на год-два старше меня и куда здоровей и крепче. Меня уже тогда интуитивно не тянуло в сторону блатной романтики, и иногда я получал по шее — слегка, не со зла. Смешно же перевернуть на спину майского жука, и смотреть, как он будет корячиться.

А глаза у меня в детстве, надо сказать, постоянно были на мокром месте. Зареванный, я приходил домой. Бабушка моя (настоящая аидише бабушка, судебно-медицинский эксперт по убийным делам на Петровке, 38, безусловный командир в нашей семье) садилась напротив меня, строго глядя в глаза, и у нас происходил такой диалог:

- Ну, если к тебе еще кто-то пристанет, ты что будешь делать?
- Плакать...
- А ты в следующий раз подойди к нему, дай как следует сдачи! Понял?
- Понял...
- Так что ты будешь делать, если к тебе еще раз кто-то пристанет?
- Плакать...

А дальше случилось вот что. На мое пятилетие бабушка подарила мне двенадцатитомное собрание сочинений Жюль Верна. В темно-серых коленкоровых переплетах, с тисненными корешками, эти книги потрясающе пахли. Бабушка купила мне книги на вырост (она все мне покупала на вырост — кальсоны, носки, все исключительно полезное.) С книжками, однако, на вырост не получилось — читать я научился рано и проглотил их довольно быстро.

Особенно очаровал меня роман «20 000 лье под водой». Уже само название: лье — это сколько? Капитан Немо, профессор Аронакс, канадец-китобой Нед Лэнд, невероятный «Наутилус»... (удивительно, с тех пор не перечитывал — все помню!) Похоже, меня уже тогда тянуло под воду. На титульном листе — черно-белая иллюстрация под фотографию: капитан Немо на мостике со свирепо-вдохновенным лицом на фоне грозового неба. Капитан похож на артиста Дворжецкого, которого я увижу лет через тридцать. Как же мне хотелось к ним в путешествие!

В общем, сидя во дворе на лавочке, я вдруг принялся пересказывать пацанам содержание романа. Нет, «пересказывать содержание» — это на

Я вырос на ваших песнях

уроке литературы. А тут роман просто пер из меня. Я как бы писал его заново — сам.

Повествование произвело эффект разорвавшейся бомбы. Парни слушали не дыша, только иногда кто-то шепотом восклицал: «Врешь!» На него шикали, и я продолжал. На дворе стемнело, и мама увела меня домой, не дав закончить.

С этого момента отношение ко мне волшебным образом изменилось. Каждый день пацаны стучали в окно нашей коммунальной кухни и требовали меня во двор — рассказывать про капитана Немо. Они готовы были слушать эту историю бесконечно, но я не мог повторяться, и роман обрстал новыми и новыми подробностями. Авторитет мой взлетел на невиданную высоту. И чтобы с тех пор меня кто-то толкнул — да вы что? Затоптали бы.

А ведь если разобраться, это и была победа, правда?

Про одиночество



Никогда не забуду ощущения того бешеного, невероятного восторга, когда я понимал, что родители сейчас уйдут на работу, няни почему-то нет и я остаюсь дома один! О, как я скрывал это чувство! Нет, я обожал своих родителей, с нетерпением ждал их возвращения домой, но ведь это совсем другое! Целый день! Один! Если, конечно, ненавистная няня не придет.

Мы живем в коммуналке на Волхонке, мне почти пять лет, и в моем распоряжении целых две наших комнаты, наполненных интереснейшими вещами. Можно поставить стул на кровать и добраться до огромных папиных книг по искусству — они стоят на верхних полках специально, чтобы я туда не лазил. Книги тяжеленные, с цветными иллюстрациями на всю страницу и совершенно особенным запахом. Какие-то вельможи, толстые голые тетки вперемежку с рогатыми козлоногими мужиками, строгие лица святых. Листать это можно было бесконечно. А ящички! Чего только не было в ящичках комода! Настоящие шприцы в хромированных коробочках, стетоскоп, лекарства, куча старых фотографий, папин орден... Я забывал все на свете. Было ли это первым опытом одиночества? По большому счету, конечно, нет. Скорее первый опыт вседозволенности. Мама, кстати, с ее невероятной интуицией, всегда замечала ящик, в котором я рылся, и мне влетало. Это по поводу вседозволенности.

А вот в 16 лет я уже вовсю писал песни про одиночество. Ужасные, надо сказать. А кто не писал? Бурное завершение полового созревания, отягощенное чем-нибудь безответным (нет, ну а как?), первые размышления о вечности, смерти и бренности мира, навеянные, скажем, Леонидом Андреевым. В одиночестве было нечто высокое, бесконечно печальное и приятно щекочущее сердце. Это правда было одиночество? Нет. Это были банальные песни про одиночество. Слава Богу, никто не помнит.

Я вырос на ваших песнях

А ведь я и потом очень любил ощутить себя в одиночестве. Я отправлялся на рыбалку на два-три дня. Чаше, правда, с парой друзей, и это тоже было здорово, но один — это совсем другое чувство. Я уезжал ночью с Савеловского вокзала за Калязин — Красное, Высокое, там и станций-то никаких не было, просто стоянка поезда три минуты. Огромная Волга, бескрайний залив, неухоженные луга, леса на горизонте — ни души. Я заряжался от этого пространства, от земли и воды как аккумулятор. Я слышал голоса зверей и птиц, беседовал с камнями и рыбами, и даже походка делалась у меня совершенно другая — это мне сообщила моя первая жена, я однажды взял ее с собой. Это было уже совершенно осознанное и необходимое мне одиночество, и я возвращался в Москву другим человеком — мне казалось, в новой коже.

Все это легко объяснимо — во-первых отпадает необходимость надевать на себя какие-то состояния, маленькие условные необходимости — а это в социуме делают все, как бы они ни уверяли себя в собственной естественности. Во-вторых, моя работа предполагает постоянный контакт (ненавижу слово «общение») с большим, иногда огромным количеством людей. Каждый из них, хочет он этого или нет, отъедает от тебя по кусочку — в той или иной степени. Многие при этом дают взамен свое, но тебя-то от этого больше не делается. Восстанавливаются все по-разному. Я — на дикой природе.

Всемирная организация PADI (кто не знает — самая многочисленная дайверская организация) несколько лет назад (не знаю, как сейчас) предлагала профессиональным инструкторам такой вид работы — тебя высаживали на какой-нибудь маленький восхитительный необитаемый остров — в Карибском бассейне или в Океании. Тебе полагался запас провизии, медикаменты, радиосвязь с миром, подводное снаряжение — все необходимое. В задачу твою входило обследование подводной части острова, с тем чтобы найти наиболее красивые и интересные места (это называется «дайв-сайты») и иметь возможность сводить туда желающих, если вдруг кто приплывет. Обычно никто не приплывал — ты просто составлял описание подводной местности. За работу эту не платили. И оставался ты там один, скажем, полгода. Или год. Я много раз собирался. Не смог отпустить себя на такой срок.

У всех видов одиночества, описанных выше, есть одно приятное качество — управляемость. Это одиночество, которое ты устраиваешь себе сам. Пока тебе надо. Но есть совсем другое одиночество — оно может наброситься на тебя из-за угла, как собака, и нет от него спасения.

Однажды я оказался на Манхэттене — не в первый и не в пятый раз. Мы снимали цикл программ про путешествия, и я почему-то приехал туда за несколько дней до съемочной группы. Я обожаю Манхэттен, у меня там масса друзей. И первых два дня я был совершенно счастлив. А потом вдруг оказалось, что я повидал всех, и им надо работать и вообще жить своей американской жизнью, а мне, в отличие от них, совершенно нечего делать, и я не хочу ощущать себя обузой. Я бродил по городу в полном одиночестве, и мой любимый город на глазах менялся — он становился мрачным, чужим и равнодушным. И даже веселье его — а вечером Манхэттен веселится, — даже веселье его показалось чужим и неприятным. Это было совершенно новое и очень сильное чувство — чувство неуправляемого одиночества. Казалось бы — сходи в кино, сходи в театр. Сходил. Сходи в музей. Был во всех интересующих меня музеях, причем неоднократно, не хочу. Пойди выпей! Не пьется.

А ведь каких-то три дня!

И как же я обрадовался, когда подъехали наконец мои съемочные негодяи, и я понял, что на глазах возвращаюсь в свое обычное состояние работы — от которой очень устаю и которую очень люблю. И Манхэттен снова улыбнулся мне.

А если говорить о настоящем одиночестве — вот как я это вижу: мы все — много-много, человек же, в сущности, стадное животное — плаваем по поверхности жизни. Мило беседуем, собираемся в стайки, шутим, плещемся даже. Мы, как правило, не замечаем, когда кто-то начинает медленно тонуть. Он пока не жалуется — он еще даже не понимает, что с ним происходит. А мы, как правило, не замечаем — он же не кричит, не зовет на помощь. Твиттер, Фейсбук и прочий Интернет очень помогает не замечать. А он уходит все глубже. Можно спасти? Можно. Но тут мало быть просто внимательным — он будет отбиваться и еще быстрее пойдет ко дну — может, именно вы ему опротивели. Только одно поможет — надо обязательно его любить. Тогда есть реальный шанс вытащить.

Вы его любите?

Заграница



Заграница. А ведь нет такого слова в русском языке. Сегодня. На данном, скажем, этапе исторического развития. Пока. Но было, было – вы уж мне поверьте. И по моим ощущениям, было это совсем недавно, во времена моей юности. Во времена Советского Союза.

«Заграница» – это был весь мир за пределами этого самого Советского Союза, лучшей страны на планете. И была эта заграница неизведанна и недостижима, как Марс. Вернее, делилась заграница на две части – лагерь соцстран, друзей нашей державы, и на капстраны. Капстраны являлись потенциальными врагами. И если на протяжении твоей жизни посетить какую-либо страну из первого списка возможность теоретически присутствовала – при условии твоего безупречного поведения, то про список второй думать вообще не следовало. Да нет, ездили великие советские режиссеры и писатели на международные фестивали, балет Большого театра и цирк покоряли мир, всевозможные партийные делегации представляли страну за рубежом – но ты-то кто такой?

В кинотеатрах перед сеансами иногда показывали журнал «Иностранная кинохроника». В странах победившего социализма под радостную музыку строились заводы и фабрики, возводились жилые массивы. Потом музыка менялась на тревожную и даже страшную – в капстранах происходили сплошные беды: землетрясения, пожары, забастовки. Было непонятно, как они вообще еще живы.

Если же на тебя вдруг обрушилось нечаянное счастье, и замаячила перед тобой перспектива посетить заграницу, то предстояло тебе следующее: сначала, собрав невероятное количество бумаг с подписями и печатями, получить в ОВИРе загранпаспорт – ох, не у всех, не у всех был!



андрей макаревич

Потом наступал момент проставления визы — не въездной, нет, — выездной. Тебе следовало получить одобрение комсомольской и партийной организации с места твоей работы — не возражаем, дескать, против поездки товарища такого-то: политически грамотен, морально устойчив, нареканий не имеет. И вот со всем этим ты шел на заседание выездной комиссии райкома партии. Там принималось окончательное решение — достоин или нет (конечно, все твои документы проходили еще через отдел ГБ, где их рассматривали сквозь особую лупу, но это делалось без твоего участия.)

Так вот, выездная комиссия — это было самое страшное. Они могли задать тебе любой вопрос из области истории — скажем, в каком году состоялся семнадцатый съезд Коммунистической партии? И если ты терялся, тебе мягко говорили: ну как же так? Вот поедете вы за границу, выйдете на улицу, а к вам подойдет кто-нибудь и спросит — в каком году был семнадцатый съезд партии? А вы не знаете. Это же позор! Нет, вы не готовы, идите. И рубили через одного. А счастливицы, проскочившие эту экзекуцию, бежали в специальное место менять рубли на иностранную валюту в размере суточных — мизерную сумму, но, правда, по волшебному курсу — и, еще не веря своему счастью, ехали, скажем, в Болгарию.

Интересно — как ставилась заграничная виза в паспорт, я вообще не помню. Помню, что как-то без твоего участия.

Еще помню, как я, мокрый от ужаса и безысходности, стоял, вытянувшись, перед этой выездной комиссией. В голове проносились вереницы дат, фамилий партийных деятелей и цитат Брежнева. Конечно, уже за одну прическу меня выпускать никуда не следовало, и члены комиссии это отлично понимали. Особенно свирепствовала неприятно молодая тетка в очках — на дужках очков располагался наглый зайчик, эмблема «Плейбоя». Я уже решил, что если меня зарубят, я публично опозорю тетку перед комиссией — открою им глаза на то, какие у их сотрудницы идеологически невыдержанные очки: ни она, ни они даже не представляли себе, что это за зайчик.

Я ответил на все вопросы. Непостижимым образом. И поехал в Польшу. Тетка осталась жить. СССР, год тысяча девятьсот семьдесят восьмой.

Я вырос на ваших песнях

Сегодня подрастает уже второе поколение, которое не только не нюхало этой вони — они даже не поймут, о чем я тут пишу. Огромное количество молодых людей, в сознании которых путешествие в любую точку планеты изначально возможно — были бы деньги. Они не знают слова «заграница».

А я всю свою жизнь считал, что наивысшее счастье — это свобода. Свобода самому решать. Говорить. Делать. И передвигаться по миру — как и куда тебе хочется. И половину своей жизни я этой свободы был лишен. Да и от второй половины не ждал ничего нового. Спасибо Михаилу Сергеевичу.

И сейчас я, наверно, больше всего хочу, чтобы эти миллионы молодых людей так и не узнали слова «заграница». Не надо.

